

Елена Лапшина

Родилась в 1970 году в подмосковном Фрязине. Окончила экономический факультет МЛТИ. Член Союза писателей Москвы. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Арион», «Дружба народов» и др. Автор четырёх поэтических сборников.



Что ни сон, то покойник, то ищешь покинутый дом,
то надо остаться, но в сумерках едешь и едешь...
Бессонная жизнь утекает своим чередом:
капкан на неё не поставишь, в стакан не нацедишь.

И узы не вечны, и нити её не прочны,
и стрелки (от слова «стреляют») её не точны.
Исчислившим беги её не за то ли расплата,
что детское время казалось и было ручным,
пока умещалось на малой шкале циферблата.

Так тикала полночь, а время пришло и ушло, —
когда мы по дури ходили туда в самоволку...
А помнишь, Хаврошечка лезла в коровье ушкó? —
как нитка в иголку.

Родная юродка, челночницей в этой/иной —
с верблюжьей повадкой, льнущая ниткой льняной
(лицо ли, изнанка пестрит узелками на память), —
я здесь и не здесь, разделённая сном и не сном,
спешу за иглой в безвременье этом сквозном —
всё ближе бликует, всё чаще и чаще мелькает...
И даже не скажешь: «Я сделала всё, что могла», —
а нитка короче, и кажется жалом игла,
и будто сибирская Лета меня окликает...

Кто в доме лубяном? Насельник, отвори —
поговори, согрей продрогшего на стуже.
Послушай, если ты тот, кто сидит внутри,
то почему коришь стоящего снаружи?

Чего тебе ещё?.. — за тридевять ходить,
носить тебе рожна и быть во всём повинным?
Да как тебя ни тешь, ничем не угодить —
ни птичьим молоком, ни рисом муравьиным.

Молчи себе, а нет — с любовью обличай,
по мелочи пеняй, оправдывая случай.
Не нарочито — нет, — как будто невзначай.
А лучше ничего не говори, не мучай.

Покуда не настала немота
и корка льда не скрыла кромку рта,
пока ещё не властвует остуда,
и длятся дни, и множатся стада,
и всё ещё до Страшного суда
предвечным поцелуем жив Иуда, —
нам ведомо, что времени в обрез.
Но всё ещё вдали Бирнамский лес
и вечно упование на чудо.

Покуда память смертная дана,
пока почивших знаем имена —
как будто бы застывших меж мирами,
чудно одетых в шёлк и шевиот, —
и время в фотографии живёт,
как древоточец в деревянной раме.
Пока красавка дразнит мотылька,
набрав нектар на кончик языка,
и бытие исполнено дарами,
покуда мышца Сущего крепка.

Каких тебе ещё щедрот? — изволь:
вот белый рис и пёстрая фасоль,
поющий дрозд и ветер вездесущий,
в жару — прохлада тени и воды,
и мужество в предчувствии беды,
и соль земли, и горный хлеб насущный.

Ты зришь в уста читающим с листа —
в чащобу соловьиного куста,
где всё в дожде — и крона, и коренья.
И дождь идёт, пронизывая лес,
как Сам Творец от полноты Небес
пронизывает всякое творенье...

Это звёзды смотрят с вышек,
молод месяц-атаман.
Из тумана кто-то вышел
и опять ушёл в туман.

Как загонщик на охоте,
связкой бронзовой брэнча,
будто ищет-не находит
подходящего ключа.

Будто сходства не заметил
между сыном и отцом.
Из тумана вышел петел
с перевёрнутым лицом...

О.И.

Как речная рыба по стуже мрёт, —
по любую сторону правоты
изгибайся, бейся об этот лёд,
умоляя: воздуха и воды...

Золотою сукровицей кропи
эти льды и воды угрюм-реки,
проходи насквозь, выживай, терпи,
раздирая жабры и плавники.

Чтобы после — в долгий июльский зной —
в наступившей неге и немоте
прикоснуться выстругленной спиной
ко ступне Идущего по воде.

Я знаю эту хворь на грани невозврата,
когда с бельмастых глаз спадает пелена,
хотя ещё земли — не пять локтей на брата,
и воды — через край, и воздуха сполна,

и глохнет тишина от голосов утиных,
и пахнет первачом опавший прелый лист,
холодная роса висит на паутинах,
и яблочный послед скуласт и мускулист.

Тончает и сквозит всё зримое воочью,
но хочется ещё отодвигать итог,
и рано засыпать, и просыпаться ночью,
и слушать между стен мышинный топоток,

до ветхости носить простые плоть и платье,
и Бога не гневить, и бровь не гнуть дугой.
Надломленный ломоть, ездок на самокате —
я всё ещё пылю, топчусь одной ногой.

Вот, гляди: буква Д — это Будда,
Т — тоскующий Сын об Отце.
Человек — угловатая буква —
умалится до точки в конце.

То локтями — за тучный и сочный,
то баюкая руку в руке,
мы стоим — кто заглавный, кто строчный —
всяк живой в этой тесной строке.

Мёртвый что — он меж буквиц пробелом —
в назывном ли ему, в наживном...
Неопознанный, белый на белом,
обнажённый, в шкафу выдвигаемом.

Через целую жизнь, — отгордившись грехами отцов
и наделав своих, — наконец, принимаю сиротство.
Чёрно-белые карточки милых моих мертвецов
в неопрятном альбоме теряют портретное сходство.

Я вас помню не так... Я за вами иду по пятам.
Вы такие, как есть, — это мой коленкор изменился.
Призакроешь глаза — и как будто проснулся не там.
И как будто не жил, а кому-то навязчиво снился.

В Подмоскovie весна — захоластному снегу каюк,
мать-и-мачеха прёт, и на Пасху такая отрада!..
Улетевшие птицы, ну как там обещанный юг?
А у нас тут земля проседает, корёжа ограды.

За любой недогляд плотяное пуская на слом,
землеройствует жизнь... Но порою привидится снизу,
будто небо меня задевает своим подолом —
я тихонько лечу, ухватившись за синюю ризу.

...И найденное — не было искомым.
Никто из сыновей не утаит
то яблоко, что встало в горле комом —
Адамово, — так в горле и стоит.

А у меня — оскомина и сладость,
предательство Адамово, враньё
и Евы — не бессилие, но слабость —
влеченье, наказание её.

В каких бы ты садах ни шёл тропую,
к каким бы ни притронулся плодам,
любой из них, надкушенный тобою,
тебе напомнит яблоко, Адам.

От земли поднимутся холода,
незаметно с ночи повалит снег.
Ты увидишь небо из-подо льда,
ты проснёшься рыбою, человек.

Неусыпным оком гляди во тьму,
серебристым телом — плыви, плыви...
И не думай: это зачем Ему? —
всё, что Он ни делает — от любви.

Не ропщи, что речь твоя отнята,
не по небу ходишь, не по земле.
Если рыбе дадена — немота, —
то самим дыханьем Его хвали.

В такую ночь не верь дневным наукам,
 когда вокруг всё делается звуком
 и различим на слух и вздох, и взмах.
 Вот жук, полночный дом беспокоив,
 шуршит по краю содранных обоев,
 ползёт и оступается впотьмах.

И кажется, все бывшие до нас
 хозяева сидят за чашкой чая —
 как будто бы с тех пор и до сих пор
 всё длится тот же самый разговор.
 Мы лишние, и мы сидим, скучая,
 ни слов, ни голосов не различая,
 как сонные тетери в поздний час.
 Лишь различим во время разговора
 негромкий стук фаянса ли, фарфора...

Всё та же кухня, те же стол и стулья,
 и тихий гул, идущий как из улья,
 невнятная кухонная возня...
 Фонит буфет, подрагивают стёкла:
 слова остались — ни одно не смолкло, —
 неуловимой вечности сквозняк...

Где пили чай с распаренной травой —
 гудение, как пенье хоровое, —
 и в комнатах скрипучие кровати,
 и дерево — поющее Амати! —
 и лишь луны безмолвный адуляр...

И чудится, вот жук взойдёт по доскам
 с тяжёлою спиной, натёртой воском,
 раскроется, как лаковый футляр,
 взлетит и тоже
 станет
 отголоском.

Рождественское

Где зимний ветер навевает сны
о реках неземной голубизны, —
земля застыла, не истратив глины.
Но ангелы в привременном аду
летят и отражаются во льду.
А тот — отставший — смотрит на долины,

застыв на миг в небесном витраже.
И наши отражения уже
одно в другом сквозят неотделимо:
он — с трещинкой кровавой на губе,
играет солнце на его трубе
за долгий миг до гибели Салима;

а это — я на новеньких коньках
как будто пролетаю в облаках,
а подо мной — долиною молчащей,
минуя горы, равно — города,
в безмолвии неведомо куда —
бредут волхвы заснеженною чащей...

Неуловимый отблеск золотой
качается над вечной мерзлотой.
А я скольжу по чёрной глади пруда, —
живущая в надежде и нужде
с молением о хлебе и дожде, —
и жду чудес, и не вмещаю — Чуда.

Забери, забери, забери
это всё, что скребётся внутри,
всё, что щерится в прорезь зрачка —
человечка меня, червячка.
Ничего не оставь, ничего —
моего.

Говоришь: дурачок, червячок,
человечек, пескарик, сверчок,
будь покоен, стручок, будь здоров —
Я даю тебе пищу и кров.
Ты во Мне, Я в тебе — не дури,
забери Меня ты, забери.
Эту боль, этот свет изнутри —
всё бери!

Ответшает, истлеет, истает в неявном ином,
как во времени оном, где заживо не задержаться.
Ничего не останется в завтрашнем, зримом, земном, —
ни рукой прикоснуться, ни боком в постели прижаться.

Растворяется твердь, утекая в воронку времён, —
перемелет и нас, перетрёт — горделивых и дерзких,
не оставив от нас ничего — ни стихов, ни имён:
этих блудных стихов, этих древних имён иудейских.

Душный воздух надышан другими, и кто их сочтёт, —
осыпаются фрески, стираются в памяти лица.
Ничего не останется здесь: это всё отцветёт...
Это каждой минутой в вечности запечатлится.